

Глеб Иванович Успенский

# Невидимки



Глеб Успенский

**Невидимки**

«Public Domain»

1888

## **Успенский Г. И.**

Невидимки / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1888

«Опасаясь цензуры, Успенский смягчал первоначальный текст очерков, многое переделывал, смягчая общественно-политический характер своих наблюдений и выводов. Из шести очерков цикла «Грехи тяжкие» вышло четыре, оказалось замененным и заглавие – цикл был назван «Невидимки». Но в нем по-прежнему говорилось о тяжких грехах по отношению к народу, которые творят эксплуататоры всех мастей и видов, о жалкой роли интеллигенции, забывающей о простом русском человеке. С большим сочувствием Успенский рисует колоритные фигуры «радетелей о народной совести», ходатаев и заступников за трудящегося человека, оберегающих его «от притеснений «господина Купона» – капиталиста и помещика...»

## Содержание

Слепой певец	5
1	5
2	7
3	9
4	11
5	13
6	16
Родион Радетель	17
1	17
2	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

# Глеб Иванович Успенский

## Невидимки

### Слепой певец (Из путевых заметок)

#### 1

Едва только греховодник Купон прикоснется своею антихристовою печатью к тихой степной станице или к тихому черноземному селу на тихой реке и запечатлеет это прикосновение, бросив на тихом берегу пароходную пристань, а в привольной степи станцию или вокзал железной дороги, – так с той же минуты и в станице и в селе начинает твориться что-то никогда не бывалое, никому не известное и, главное, нечто такое, чему никак нельзя не повиноваться. Какая-то неведомая сила разламывает беленькие уютные домики, утопавшие в зелени тополей, и строит огромнейшие, столичного фасона дома; строит одно здание вслед за другим, без отдыха и остановки, наполняет эти здания гостиницами, огромными невиданными прежде магазинами, из которых как бы сами собой лезут и сами собой надеваются на всех, попросту одетых обывателей, новые, небывалые костюмы, пиджаки, визитки, всякие необыкновенные шляпы, турнюры. Неведомая сила, не говоря ни слова, не приказывая через полицию, начинает выгонять мирных жителей, проводивших тихие летние вечера за игрою в дурачки, в кафешантаны, в загородные сады, заставляет слушать шансонетки на непонятном языке, учит не стыдиться коротких, выше колен, юбок, выразительных движений акробатов и наездников цирка, и сразу, по шучьему велению, гипнотизирует массы скромных и совершенно невинных девушек, дочерей местных обывателей, выгоняя их на новый промысел на новом тротуаре. Вчера одна из этих невинных девушек думала выйти замуж за дьячкова сына или за приказчика в овощной лавке, получающего три рубля; другая собиралась торговать калачами, а третья и ее подруга совсем было решили идти в монастырь. Но пришел антихрист, изумил тысячами неожиданностей, прервал и уничтожил все мысли, воспитанные исконною жизнью, в тихой семье тихой станицы, тихого села, и, оставив без своих мыслей, «внушил» страх «пропасть», живя с пустыми руками, осрамил простой самодельный наряд, осрамил наивные мечты быть счастливой с приказчиком, с дьячковым сыном и вытащил, почти без сопротивления, точно виноватых в невежестве и бедности, в сады, в «шантаны», на гулянья, в номера, закабалил одеждой, шляпкой, зонтиком, ботинком с каблукком.

Такого рода последствия прикосновения антихристовой печати к тихим уголкам русской земли большею частью приветствуются людьми безразличного образа мыслей о себе и ближнем, как радостные события, как благодатный дождь, оросивший пустынные места и пробудивший в них жизнь; но в ком есть капля чувства, чтобы ощущать в делах человеческих разницу между «медом и дегтем», между добром и злом, тому нельзя, без ощущения кровного огорчения, равнодушно смотреть на эти внезапные, мгновенные процветания наших тихих сел, тихих станиц. Приглядевшись и притерпевшись на своем веку ко всяким жестокостям жизни и даже привыкнув немалое количество их почитать «неизбежными фазисами», я все-таки не мог не испытать, при виде этих внезапных процветаний, того самого ощущения, которое иногда выносилось с кладбища, где только что зарыли милого и симпатичного человека. Два года тому назад он, милый человек, был жив, сидел, веселый и здоровый, под этим окном, любовался вечером и тополем; сидел он в одной рубахе, распоясанный, и от жары был даже босиком, но,

главное, он был прост, добр, весел и, еще главнее, был жив. А теперь он одет, застегнут, обрит, причесан, но уже мертв, бледен, с истощенным лицом, хотя и в красивом, глазетовом, позолоченном гробу.

Хорошо, весело было проехать по грунтовым дорогам Кубанской области, когда еще «чугунка» только строилась и только еще носились слухи, что она «когда-то будет». Что будет после этого, никто не знал, да и не думал об этом. Овощный приказчик вполне еще верил в свой предстоящий брак, и невеста его терпеливо ждала того дня, когда ее жених наживет пятнадцать рублей, чтобы заплатить за свадьбу. Тихо тянулись светлые, несуетливые дни; солнце не спеша шло по небу целый божий день; не торопилось оно и начинало садиться лишь тогда, когда уже видело, что стала позевывать вся Кубанская область. Для шутливости разговора, от которого даже и в стариках играла жизнь, времени хватало ничуть не меньше, чем на работу. Но прошло два года, припечатал антихрист к «тихому месту» шумный вокзал, и вся эта благодать пошла прахом. За огромными зданиями пропала древняя станичная церковка; ранний, до заутрени, унылый, тревожный, пронзительный свист паровика поглотил скромные, редкие, осторожные звуки колокола, начинавшего призывом к «заутрене» тихий станичный день; пропала мягкая дорога, и каждое колесо затрещало, загремело по каменной мостовой; суета, огни, суматоха встречных и поперечных пиджаков, шляп, турнюров, зонтиков. Суматоха без разговоров, молчаливая, деловая; молчаливая, скучная, задумчивая, обремененная антихристовыми печальми толпа, снующая по гуляньям, бульварам, циркам, снующая под звуки скрипок, духовых инструментов, под хлопанье турецкого барабана, который как будто всеми силами старается растолкать этот удрученный антихристовой печатью народ. Нет, это уже гроб глазетовый, обитый серебряною парчой, и в нем уже не живой, хотя и разукрашенный, покойник.

## 2

В таком новоявленном, внезапно процветшем городе Кубанской области пришлось мне года два тому назад прожить целую неделю. Перед этим я был в нем еще двумя годами раньше, и хотя в нем и тогда были уже заметны кое-какие следы пришествия антихриста (новая гостиница, какая-то панорама и лотерея), но все это было еще в самом слабом намеке и вовсе не мешало вполне ясно ощущать и видеть жизнь большой, обильной довольством станицы, тихого, простого, ленивого, но не купленного и не проданного уголка. Несказанно поражен был я блеском глазетового гроба, когда заглянул сюда еще через два года после первого посещения: степной город, то есть большая, богатая станица, был уже припечатан антихристом к новороссийской железной дороге, чрез станцию Тихорецкую был уже скован рельсовыми железными объятиями со всею Россией, а чрез Черное море и Новороссийский порт – со всем белым светом. Он уже присосался ко всему белому свету, и белый свет присосался к нему. И уже жадно пьют они друг из друга «свеженькую кровушку».

Не будь у меня самой настоятельной необходимости прожить в этом городе неделю, и не имей я в это время работы, которая приковывала меня к столу и почти не выпускала из номера новой гостиницы, – я не знаю, как бы я пережил эту неделю тоски при виде преобразованной в город станицы и тихой станичной жизни в шумную, трескучую городскую суету сует. Но хотя обязательная работа и держала меня почти постоянно в номере гостиницы у стола и у пера, все-таки нельзя было не выходить на улицу. Палящий июльский зной раза три, а то и четыре в день непременно выгонял меня на Кубань в купальню, и тогда я волей-неволей должен был видеть реформированную Купоном жизнь нового города. Путь мой из гостиницы на Кубань лежал по большой улице, мимо училища и собора, мимо целого ряда новеньких с иголки магазинов, кондитерских, контор нотариусов, мимо вывесок ссудных касс, зубных врачей, парикмахерских и т. д., вплоть до третьего перекрестка, обогнув который я уже шел до Кубани по прямой линии, мимо большой базарной площади, бывшей в это время положительно человеческим рынком.

В особенности было многое множество станичных молодых женщин и девушек (старух ведь не берут на работу), которых всякого рода «арендатели» буквально расхватывали целыми толпами на полевые работы. В это время во всех направлениях дорог, идущих к Темрюку, к Крымской станице и за Кубанью, постоянно мчались фуры и всякого рода повозки, нагруженные этим живым товаром; человек по восьми, по десяти молодых женщин и девушек сидят, свесив голые ноги по бокам фуры, и иногда песни поют, а иногда молчат, точно бараны, которых везут на продажу и которые не понимают, что с ними делают. Огромное количество их везут на табачные плантации, огромное количество их поглощает Ростов на табачных фабриках, огромное количество их, тысячами, моет в Дону овечью шерсть. Все это приходит полное цветущего здоровья, приносит с собой детскую способность придавать труду оттенок простой, изящной, радостной игры, но как все это гибнет, как все это истаптывается под ногами Купона, как все это рвется в клочья! Одни рассказы о пришедших и уже отведавших благ Купона рабочих, о том, что творится с этими молодыми женщинами на одних только табачных плантациях, которые мне пришлось слышать, производят непередаваемое словами, кровное огорчение; и ведь с детским весельем, даже, пожалуй, с песнями, постепенно только замирающими, гибнут они. Сколько молодой, живой силы, могучего здоровья чувствуешь, бывало, в этой сплошной массе молодого рабочего народа, пробиваясь сквозь их плотные ряды (они теснятся около какого-нибудь «арендателя») по дороге в купальню. Ранним утром их бывало на базаре буквально видимо-невидимо. Точно из бани жарко натопленной выйдешь, выбравшись из океана этой продающейся, живой человеческой силы, и тут же, на каждом шагу, видишь, как эта сила вымывается из человека.

Вся правая сторона базара застроена новыми домами, переполненными всякого рода питейными заведениями; портерная сменяется кабаком, кабак – трактиром без машины, а этот последний сменился огромным вертепом, с неустанно ревушим оркестрионом, конечно, дешевого изделия. Во всякое время дня, особливо в самые ранние часы, в часы похмелья «после вчерашнего», а вечером, после оконченной работы, для похмелья завтрашнего, – все эти пьяные места бывали переполнены народом обоего пола и всякого возраста; в окна, открытые от жары, духоты, трактирного кухонного смрада, видны были толпы рабочего народа, кучами облипавшего крошечные трактирные столики. Город «процветал» не по дням, а по часам, строился, красился, прифранчивался на все манеры, и рабочий народ валил сюда тысячными толпами. Пьяного народа, горланящего песни или беспомощно склонившегося над столом, свесившего голову за спинку стула, как из мужчин, так и из женщин, даже из самых юных девушек, всегда было во всех этих заведениях множество. Пришлый народ зарабатывал и пропивал, входил в случайные связи, совращал и сам совращался с пути. Много всякого безобразия приходилось мне видеть в открытые окна заведений каждый раз, когда я шел на Кубань, и под конец моего пребывания положительно едва мог переносить эти ревущие звуки органов, эти уханья барабана, медного скрежета органных тарелок, аккомпанировавших угасанию живой силы в сивухе и в грубом распутстве.

Наконец, слава богу, настал день отъезда. Поезд отходил днем; часа за полтора до отъезда я заглянул на почту и в первый раз в течение недели имел случай пройти по городу необычным для меня путем. Возвращался я через базар, но уже с противоположного конца, и должен был перейти его весь и поперек. В этом конце звуки неистовствовавшего органа были почти совершенно не слышны; по временам только едва-едва слышалось его гуденье и только в таких случаях, когда в нем сразу занеистовствует очень уж много инструментов. Но среди непривычной тишины, в этом углу базара неожиданно стали слышаться откуда-то какие-то иные звуки, унылые и трогательные. Они так были неожиданны, после пьяного кабацкого рева и грохота трактирных машин, что я невольно остановился и прислушался. Звуки ясно доносились до меня и ясно напоминали звуки церковного органа. Что-то глубоко одолевающее душу горькою печалью слышалось в них, хотя они были как-то отрывочны и, прозвучав, растрогав, замолкали на несколько мгновений. Скоро я уловил тот пункт, откуда они доносились, и пошел по их направлению. Огромная толпа народа окружала то место, откуда они шли и слышались все яснее и яснее, но, к сожалению, замолкли в то время, когда я стал торопливо проталкиваться опять сквозь ту же горячую, сплошную массу человеческих тел.



## 3

Звуки замолкли, толпа замерла в благоговейном молчании, и я увидел следующее: прямо на земле, то есть на толстом слое навоза, стоял, покосившись набок, старый-престарый гармониум. От дождей, от ветхости он был самого жалкого вида; задняя часть для защиты механизма от пыли была кое-как завешена грязным лоскутком пестрой фланели, по-видимому вырезанной из женской юбки; какое-то дорогое дерево, которым был когда-то отделан инструмент, местами было совершенно ободрано, а местами вздулось пузырями и уже лопнуло. Подвижные бронзовые подсвечники были отломлены, а наверху инструмента стояла деревянная чашка, точь-в-точь такая, какую протягивают прохожему, прося подаяния, слепые нищие.

За этим жалким инструментом сидел слепой человек, полный, как бы отекший, слегка рябой. Куча густых черных волос, топорщась на затылке, закрывала весь его лоб. Песок густо напитался в эти густые волосы, густо покрывал инструмент и весь нищенский костюм (рваный пиджак и грязную рубаху с расстегнутым воротом) слепца. Он сидел на старом, мягком, но тоже совершенно оборванном кресле и, по-видимому отдыхая, нюхал из тавлинки табак. Несмотря на его впалые, мертвые глаза, лицо его не носило отпечатка горя или несчастья, напротив, оно было самое добродушное, веселое, даже до того веселое, что ослабляло те впечатления печали, которые доносились от места, где был слепец и его гармониум. Он как бы не замечал, что он слеп, и, повертывая в жирных, коротких, хотя, признаться, грязных-прегрязных пальцах свою березовую тавлинку, разговаривал с народом всегда с легкою улыбкой на губах.

А к нему подходили из толпы разные люди довольно часто.

– Отпойте, будьте милостивы, нашей Корсунской! – робко, почти шопотом, просит старенький крестьянин, подходя к гармониуму без шапки и кладя в деревянную чашку пятак.

– «Заступница усердная»? – спрашивает слепец, поворачивая лицо как раз в ту сторону, где шепчет крестьянин, и уничтожая этою чуткостью слуха всякую тень неприятного впечатления его слепоты.

– Уж будьте добры, нашей Корсунской! Не прочим каким...

– Прочих, душа моя, никаких нет! – поплотней привалившись спиной к креслу и понюхивая табак, уж прямо с улыбкой, добродушнейшим голосом, начинает он рассуждать. – Есть это у вас упрямство: то Корсунской, то Почаевской, то Владимирской... Упорство этакое, чтобы «нашей»!.. Отпой «нашей», а не чужой!

Слышатся в толпе какие-то голоса и возражения, но сразу их не поймешь.

– Никаких «прочих» нет, а есть одна владычица богородица! Одна! В тысячах местах она являлась, а все одна, и во всех местах ей одна похвала. «Заступница усердная, мати господи вышнего!» И нет ничего больше... «Нашей!»... Одна она владычица!

Слепец крепко понюхал и отер нос скомканным платком непостижимого цвета.

– Ну, пущай уж! Отпойте хошь!

– Вот так бы и надо!

Слепец потер нос и прибавил:

– Отпою! Очереди надо погодить... Раньше псалом просили...

Во время этого разговора из толпы постоянно выходили крестьяне, казаки, мужчины, женщины и клали деньги в чашку. Один высокий русский мужик, плотник, с инструментами и мешком за спиной, поспешно проходя мимо толпы и слыша разговор о божественном, оглядел все это, минуту пораздумал, потом, быстро сняв шапку, перекрестился, проворно вынул из кошелька две копейки, положил их в чашку и, взяв оттуда копейку сдачи, поспешно пошел «по своим делам». Деньги каждую минуту звякали в чашку, каждую минуту люди подходили и просили отпеть либо то, либо другое («Упокой, господи, душу раба твоего...» и пр.), а сле-

пец сидел, поигрывал табакеркой, очевидно ясно ощущая каждый звук копейки, падающей в чашку, и, повидимому, вовсе не скучно себя чувствовал.

Из среды обыкновенной массы рабочих и деревенских людей, которые толпились около слепца, иной раз выделялись какие-то странные личности бродяжного, бесприютного типа, доказывая постороннему наблюдателю, как много в народе этих странствующих оригиналов и как мало мы знаем наш народ, понимая его только как земледельца. Неожиданно подошел из толпы какой-то рослый детина; блестящие, возбужденные, как у дервиша, глаза, раскрытая, опаленная солнцем грудь, нищенский костюм, меховая рыжая шапка и какие-то сумки, повешенные через оба плеча справа и слева, и, наконец, длинный, в рост человека, посох, – все это говорило, что человек этот какой-то фанатик скитальчества, беспокойный искатель чего-то, а пожалуй, и проповедник.

Последнее подтвердилось очень скоро. Протолкавшись сквозь толпу, он протянул слепцу руку, на которой не было двух пальцев, и сказал нервно и торопливо:

– Возьми руку-то!.. Пощупай!.. Что? узнал?

Слепой несколько секунд молча ощупывал руку и вдруг, как будто что-то вспомнив, весь просиял и с юношескою улыбкой обернулся в сторону странника.

– А-а-а! Кузнецов? Ты, что ли?..

– Я, я, я, Кузнецов! Вспомнил?

– Как не вспомнить!.. Ну, как же ты? Откуда? Куда?

Но пока слепой говорил это, Кузнецов уже кричал ему:

– Не говори! Не спрашивай! Нельзя нам при народе болтать! Понимаешь? Одно – всем укажу пути! Всем пути укажу!.. Молчи, не разговаривай! Понимаешь?

Кузнецов вырвал у слепца руку и рванулся к толпе, а слепой опять понюхал табаку, тихо рассмеялся и, слегка повернув голову в ту сторону, где он ощущал присутствие Кузнецова, смешливым тоном сказал ему:

– Эх, Кузнецов, Кузнецов!.. Всё ты, я вижу... пути всё у тебя! Уж ежели мы с тобой пути будем показывать, так все, брат, от нас разбегутся!.. Пути!

И слепой засмеялся, но Кузнецов попрежнему, еще не дослушав его слов, опять кричал:

– Молчи, молчи! не говори! Укажу, укажу пути! Оставь! Прощай!

– Ай идешь?

– Иду, прощай! Спаси тебя Христос! Укажу!

– Ну, с богом!

Слепой еще раз со смешком сказал: «пути!», затем протянул руку к чашке, ссыпал из нее деньги в горсть и положил в карман; потом торопливо понюхал табаку, отер нос с тем же приемом и, подвинувшись с креслом немного вперед, спросил толпу:

– Кто желал «Помилуй мя боже»?

После незначительного молчания какой-то мужичок выделился из толпы и почти шопотом сказал:

– Мы.

– Ну вот, извольте.

## 4

Слепой придвинулся с креслом к инструменту, протянул руки к клавишам, низко нагнулся над ними, и в ту же минуту лицо его приняло умное, даже глубоко умное выражение. Тихим речитативом, тихим и мягким тенором, он не пропел, а с глубоким чувством произнес медленно, вразумительно первый стих псалма: «Помилуй мя, боже, помилуй мя!»

Осторожное прикосновение к клавишам, двумя, тремя тягучими скорбными нотами, придало этому покаянному вздоху рыдающее выражение, – и толпа была сразу взята этими звуками «за душу», «за живое». Приходилось мне бывать на богослужениях в католических соборах за границей, в Париже, Кельне; сравнивать музыку церковных органов с музыкой ветхого гармониума на базарной площади, конечно, было бы делом «неуместным», но мне кажется, что в речитативах и музыке базарного певца было одно несомненное достоинство: речитативы его возбуждали в толпе *понятные* ей душевные муки и скорби, прямо проникали в душу, в совесть слушающей толпы; в речитативах слепца звуки только усиливали смысл и значение, как бы пересказываемых им, душевных терзаний псалмопевца. Красота, сила и могущество *звуков* органа и хора поглощают простой и трогательный смысл *слова*, выраженного в духовной песне. Эти звуки органа и хора волнуют, потрясают, то радуют, то разжалобливают, но действуют, главным образом, только на нервы слушателя, волнуя их неясно сознанным, хотя и могущественным впечатлением. Великолепный архиерейский хор в нашем православном кафедральном соборе также потрясает только нервы слушателей, стремясь к тому, чтобы в сильные моменты религиозного пения громокипящими звуками был переполнен весь огромный храм, вплоть до самой дальней глубины всех четырех куполов. «Хорошо!» – говорят знатоки хорового пения, когда дьякон сумеет расколоть своим многолетием несколько аршинных стекол в окнах собора. И точно хорошо, даже, как выражаются любители, «любо-два».

Но все это ничто сравнительно с вразумительным, задушевым пересказом *внятных, понятными* каждому живому человеку словами, который сразу захватил за душу всю толпу простого народа, как только слепец произнес первое слово и усилил его осторожным, в меру взятым, простым, подходящим к смыслу слова звуком своего полугнилого гармониума.

Омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня...

Беззакония мои я сознаю и грех мой всегда пред тобою...

Я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя...

Когда, при каких условиях русский простой человек, этот вечный недоимщик, неплательщик, этот постоянный разрушитель доверия к России крупных финансовых фирм, постоянный напоминатель всему отечеству о предстоящих неурожаях, засухах, голодовках, когда это существо, с представлением о котором всегда мерещится какое-то и чего-то разорение, измождение, непосильное растрачивание сил, питаемых мякиной, древесною корой, – когда и при каких наилучших обстоятельствах своей жизни могло бы это существо хоть только ознакомиться с ощущением своего личного падения, греха, личного страдания, личную скорбью о самом себе? Тот же псалом весь век бормотал ему сельский приходский дьячок, также в недалеком от него расстоянии – с клироса и также с целью наполнить звуками «кумпол» сельской церкви. О покаянии во грехах и батюшка напоминал перед великим постом с амвона. И каяться ходил всякий из этой блуждающей по лицу земли русской толпы простого народа, плетущегося за куском хлеба, за пропитанием для своего семейства... Но никогда никто из всей этой темной, удрученной куском хлеба массы не ощущал самого себя и не задумывался над самим собою, над своею совестью, над своею душой в таких огромных, неожиданных размерах, как это заставил его невольно ощутить простой, задушевный, выразительный пересказ базар-

ным музыкантом понятных всякому живому человеку слов о понятных человеческих грехах и скорбях.

Слова, исходящие из страдающей души человеческой и проникающие в такую же страдающую душу, которая никогда не придавала им никакого значения, да и теперь лишь ощущает только то, что затронуто что-то горькое в душе, – эти слова на неизмеримо далекое расстояние унесли все мысли толпы от ее ежеминутной, вековой трудовой маяты. Толпа вся состояла из тех же самых трактирных и кабачных, опухших или истощенных рабочих, привлеченных «процветанием» когда-то тихого и чистого места. Крестьяне, казаки, женщины, продающиеся на плантации и на разные полевые работы, – словом, всё был тот самый народ, которого всякий видит не иначе, как живущим под властью каких-то суетных забот, тревог, огорчений и вообще не светлых, не широких мыслей. И вся эта масса ординарных, иногда ничего не внушающих лиц, или внушающих только тяжкие мысли и ощущения, была поистине неузнаваема. На опухших, кабачных лицах легли черты детской слезливости, а у иного тряслась голова и из тусклых глаз падали слезы куда ни попало. Слышались глубокие вздохи, иногда всхлипывания, и вообще вся толпа превратилась в скорбящего человека, человека с сокрушенным сердцем, совсем не похожего на ту человеческую силу, которая бесцельно тратит себя в лошадином труде и в смрадном кабаке.

Нет! нигде, ни на базаре, ни на черной работе, ни в кабаке, никогда не забирала такая горькая тоска о самом себе, какая забрала толпу словами и звуками базарного певца и базарного инструмента. Слова и звуки, до мельчайших подробностей, слушались всею толпой и среди ненарушимой тишины. Солнце ярко и внимательно смотрело на этих крепко задумавшихся людей, и они без шапок, с вспотевшими головами, с огорченными лицами, жадно припадали своими сокрушенными сердцами к простым, но «за живое», «за душу» берущим словам:

Возврати мне радость спасения твоего!

## 5

Быстро мчался поезд, убегая от процветающего города и направляясь к станции Тихорецкой, но я расставался с ним далеко не с тем удовольствием, которое ощущал несколько часов тому назад, при приближении минуты отъезда. Теперь я бы охотно остался в этом городе еще на целую неделю, лишь бы мне хорошенько разузнать подробности о слепом базарном певце и музыканте, ближе сойтись с ним, познакомиться, послушать его рассказы о том, что видел он на своем веку. Но нельзя было остаться ни минуты, и я волей-неволей должен был отказаться от истинного удовольствия хотя бы еще раз видеть и слышать этого человека. Однако желание все-таки хоть что-нибудь и от кого-нибудь узнать о нем не покидало меня и в дороге. Не раз я обращался с вопросами к моим соседям, пассажирам третьего класса, все людям простым, большею частью чернорабочим, прохожим и переходящим людям, полагая, что если им известны базарные кабаки и базар вообще, то не может быть неизвестен и базарный певец.

Почти все до единого, к кому я ни обращался, знали его, слышали, все были растроганы его псалмами, все хвалили, но никто ничего более обстоятельного о нем не знал. Раза два я пересаживался и перетаскивал мой дорожный мешок из вагона в вагон, входил в знакомства с новыми проезжими новых вагонов, но все было безуспешно; наконец, уже под самую Тихорецкую станцию, на мое счастье, попались мне неприятные собеседники. Это были наши великороссийские мужики, переезжавшие на заработки на другую половину Северного Кавказа, к Ставрополю, так как в «этих местах» дюже много «набило» народу со всех концов России.

Все они знали певца и все хвалили.

– Уж чего лучше! Уж разжалобит, так разжалобит! Уж нечего сказать!

– Хорошо, одно слово, хорошо! И везде он, по всем станицам, по ярмаркам ездит, и везде его почитают!

– В наших местах и не слыхивано, чтобы этак-то божественное петь!

– Так тебя слезой и прошибает!

– Кто ж он такой? – спросил я, вдоволь наслушавшись искреннейших похвал.

– А бог его знает! Звать-то его Семен Васильевич... в Киеве, вишь, в монастыре, монах его, слепого, научил музыке-то... А так, чтобы толком сказать, нет, этого не знаем.

– Хочешь знать, кто таков Семен Васильев? – громко и храбро провозгласил какой-то мастеровой из железнодорожных. Развязный парень, в картузе набекрень, заняв ногами два передних места, сидел у окна на противоположной от нас стороне и крутил папироску из газетной бумаги.

– Коли знаешь, так скажи.

– Адвокат! вот кто Семен-то Васильев!

– Слепой-то? – в изумлении спросили мужики, да и я не мог не воскликнуть:

– Как? Этот слепой и певец – адвокат? как же может это быть?

– Очень просто! Примал дела, решал по законам!

– Слепой?

– Окончательно!

– Верно, верно! – подтвердил слова мастерового новый собеседник, по внешности мелкий торговец. – Верно! Действительно, был когда-то... занимался. Теперича он оставил это занятие, а года два тому назад очень много делов делал.

– А как же он мог делать это?

– А очень просто: были у него законы, книги... И вот он заставлял читать их свою жену; она читает, а он запоминает... А когда вытвердил, так приказал жене сделать с боку книги обрез. Как какая часть оканчивается, так она и вырежет... Так оно, если сбоку смотреть, ступеньками вышло. И он шупом знал, на каком вырезе надо отвернуть и по какому делу какой

вырез... Покажет жене пальцем, на каком месте надо книгу открыть, и заставит ее читать закон. «Читай мне статью такую-то», – ну, та и читает, а потом пишет, что он приказывает, и бумаги за него подает.

– Да кому же охота идти к слепому, когда есть настоящие, зрячие адвокаты?

– Э-э-э! господин, разве мало тут темного народу-то по Кавказу ходит? Пришлый он, темный, ничего не знает, где ему адвоката искать? Он и так-то путается, как во тьме кромешной. Здесь его, пришлого-то, иногородного, любят теребить. Там отдадут в аренду, деньги возьмут и гонят, а иной, недобрый, мало прогнать, еще и взыскивает... И условие написать на аренду земли, и от напрасного взыска вывернуться. Мало ли делов! Темный, несведущий человек, как паутиной, ими опутан. Тут и слепому будешь рад-радехонек, только бы заступился.

– А заступался?

– А как же? Прежде очень его хвалили... Все подробно рассудит, расспросит, бумагу напишет, укажет, к кому идти. Посоветует, хорошо посоветует! Хвалили!

– И деньгу тоже хорошую наживал! – развязно присовокупил мастеровой. – Огребал, можно сказать, деньгу-то!

– Ну уж и огребал! Тоже, язык-то у тебя как обух молотит! Откуда ему огребать-то?

– И не токмо огребал, а и под проценты пушал, вот что, ежели тебе угодно знать!.. Да! под заклады давал! Понимаешь? чуешь? Под заклад!

– Нет, почтенный, это не он. Это, ежели сказать правду, женино дело! Действительно, очень может быть. Но только это женино дело... Она тоже тонко дела понимала и много помогла мужу. Теперь вот он без нее-то как без рук!

– Умерла? – спросил я.

– Умереть не умерла, только время провела! – опять провозгласил мастеровой.

– Рассталась, то есть, – объяснил мелкий торговец.

– Ра-зо-шлась! – иронически произнес мастеровой. – Подобрала деньжонки, да и удрала, с богом по морозцу. Ловкая дама! Умерла очень приятно!

– Действительно, надо сказать, скрылась она, – объяснил мне торговец, – неизвестно где находится... Вот, как она ушла-то, ему уж пришлось дела-то судейские бросить. Куда! И много по этому случаю огорчается на него народу. Где какие бумаги, не знает, сам сыскать не может. Много убытку натворил!.. Напутал!.. А то, бывало, день псалмы поет, а после обеда по судебным делам принимает. Ну, теперича ему осталось только что петь, да инструмент... вот все его имущество.

– Что ж, хорошо, хорошо поет! Дай бог ему здоровья! Хорошо!

– Этого уж не отнять! Камень, и тот заплачет.

И опять много-много хвалили слепого певца.

– А что, ребята, чудится мне, будто иной раз, во псалме-то, словно бы и не по нашему вкусу поется?

Это проговорил новый собеседник, молодой плечистый парень, все время слушавший разговоры молча, пожевывая белый хлеб. Парень был рослый, сильный и с добродушным лицом, но в его глазах, маленьких и бледнозеленоватых или бледносероватых, был какой-то нездоровый блеск и какая-то неподвижность выражения. Не то в них таилась скрытая, но острая злоба, не то до болезненности острое горе. Ел он не спеша, как будто лениво, но казалось, что нервы его не так спокойны, как кажется с первого взгляда.

– В псалме-то не по твоему вкусу? – оборвал его мастеровой. – Очнись, прочухайся!

– Пра, не по-нашему! – сдержанно улыбаясь и вовсе не смущаясь окриком мастерового, говорил парень, не спеша продолжая жевать белый хлеб.

– А ты слухал, как слепой-то пел?

– Как не слухать! Плакал, не то что... В неделю-то раза по три от работы отрывался, даже стал все слова запоминать....

– Ну, так что же не по-твоему вышло?

– Оно, коли ежели взять, как человек кается, так хорошо... нечего говорить! Это в псалме хорошо! Вот я с перву-то началу эти слова-то и принимал к сердцу. Все мы грешные. Мы ведь какие анафемы-то? (острая черта не то злобы, не то душевного недуга мелькнула в глазах парня). Нешто нашему брату, ежели сказать по совести, можно вполне доверять? Когда перед арендатором-жидом тихоней притворяемся – есть тут правда? Норовишь сам его оплесть! Ведь на уме одно: только бы его-то оборудовать хорошенько, в дураках оставить! А бабе, случаем, не наплетешь разве всякого? Не обманешь?

– Нечего сказать! Хорош паренек! – нравоучительно проговорил мастеровой.

– Да и сам-то ты нешто так и не норовил оплесть человека, чтобы тебе лучше было?

– Оплесть – не оплетал, а охулки на руку не клал!

Слушатели рассмеялись, а мрачно настроенный парень продолжал:

– Вот так оно и есть по нашему-то вкусу! Виноват пред богом! Уж пойду каяться, так не к тебе, не к арендатору и не к бабе! Только к богу! Только он может меня помиловать... Распахнусь весь! Подлец я! Обманщик! С умыслом один глаз на грехи закрывал, будто не вижу! Прости меня все, кого я обидел и надул, – не легче мне от этого. Только бог, он может меня очувствовать... Перед ним – разорвусь! Ни пред кем так не откроюсь, только пред ним... Покаюсь из всех сил! Раздерусь, а с пустыми словами к нему не пойду!

– Чего? – совершенно не понимая, что говорит мужик, прищуриваясь, сболтнул мастеровой.

– Да, не пойду с пустяком к создателю! Ты сам не знаешь, отчего ты оподдел, очертел, – он знает! Перед ним надо только распахнуться! Всю нечисть-то оказать вполне! Вот, мол, сколько в меня нечисти нанесло! Как мне быть? А чтоб с умыслом подходить – это... уж мне не по вкусу!

– Хорош, хорош паренек! – иронизировал мастеровой. – Хорош!.. Оказывается, умеешь ты грехов на душу-то намотать!

– Да, брат! Много у меня грехов, много! И у тебя, поди, не мало?

– Ах ты, чудодей этакой! – снисходительно засмеялся мастеровой. – Болтает неведомо что! Так слепой-то не по вкусу пришелся?

– Нет, брат, по вкусу он мне! Дай бог ему здоровья! Призри его, господи, добро он нам делает! А не по вкусу мне, чтоб молиться с хитрым умыслом, это мне не по вкусу! За слезу-то и спасибо Семену Васильеву! Это дело доброе!

– Перед богом доброе дело! – подтвердили несколько голосов. – Что хорошо, то уж того отнять нельзя!

– Я и на работе плакивал с холоду, да с голоду, да со злу, – продолжал парень, – да не та была слеза!

В таких разговорах незаметно подошла и станция, и все мы разбрелись, кто куда.

## 6

Со дня этой неожиданной встречи со слепым базарным певцом, оказавшимся к тому же и крестьянским адвокатом, прошло уже три года; но пройдет и еще три, а мне кажется, что эта мимолетная встреча не изгладится из моей памяти. Ежедневная «газета» приносит нам десятки известий о многих невзгодах народа и о многих проектах мер, предпринимаемых к облегчению его изнурительной жизни. Но до крайности редко и на этих мелко-премелко напечатанных и длинных-предлинных столбцах слышатся слова, касающиеся духовных надобностей народа. Мы рады, благодарны, искренно ценим труды подвижников на пользу народного благосостояния, но не можем также не ценить и тех не имеющих определенного наименования, звания, положения «невидимок», которые среди темных народных масс, из-за совести или просто из-за куска хлеба, удовлетворяют, как умеют, те требования духовной жизни народа, которым в расходных статьях всевозможных бюджетов не оказано решительно никакого внимания. Не подвижники эти «невидимки», радетели о духовных надобностях народа, – это просто добрые люди или же, повторяю, люди простого расчета, куска хлеба; но в том и в другом случае – честь им и хвала – они умеют понять, что народная душа расстроена не менее народного кармана, и ощущают надобность прийти ей на помощь, откликнуться на ее заботы и печали. Семен Васильевич берет деньги за псалмы, но ведь и «гречаники» он бы мог отдернуть как следует для пьяных приказчиков, кутил купчиков и вообще для всяких веселых людей. Денег, конечно, эти веселые люди надавали бы ему гораздо больше, чем это могут сделать крестьяне и рабочие. Но почему-то он чувствует себя лучше и приятнее, когда вокруг него толпится душевно расстроенный, умиленный простой человек, дающий ему свои копейки от чистого сердца и – он знает это – «за дело». И если Семен Васильевич предпочитает трогать народ «за душу» не для веселья, а для пробуждения в ней скорби о самой себе, то, стало быть, кроме хлеба, у него есть и добрая мысль о меньшом брате, и, переезжая на волах из станицы в станицу, с ярмарки на ярмарку со своим инструментом и с табакеркой, он до некоторой степени сознательно заботится о пробуждении народной совести. Его нельзя не почитать наряду с теми «невидимками», радеющими о народной совести, которые, невидимо и непонятно для нас, делают в народе добрые дела несравненно большего размера.



## Родион Радетель

### 1

Вспомним, что можем, о наших простых, русских, истинных, добрых, искренних радетелях о чистоте народной совести, борцах с народным невежеством и дикостью, о людях, вносивших в темную народную среду хотя крошечный, но несомненно истинный свет.

Сижу я во время одной из моих поездок в пустом номере какой-то гостиницы, в каком-то городе, – не то на Каме, не то на Волге, не то на Оби, – и ожидаю утра, чтобы ехать куда-то, а куда именно, хорошенько уже не помню. В руках у меня старый номер «Губернских ведомостей», так как никакой иной газеты в гостинице не оказалось. В неофициальном отделе читаю я сказание об одной древней, чудотворной иконе, и в моем воображении рисуется такая картина.

## 2

Дело это было «в лето от миробытия 7393, а по рождестве» Христовом 1685 года майя в 22 день, при державе благоверных государей и великих князей Иоанна и Петра Алексеевичей, и при патриархе Адриане». В эти далекие от нас времена, в тех местах, которые в настоящее время лежат в Сольвычегодском уезде, были дремучие, темные леса, с разбросанными там и сям поселками. В диких местах проживал дикий народ, сохранивший множество языческих преданий и обычаев. Если в наши времена в Вятской губернии сохранился обычай весенних игрищ «между сел», так в такой глуши, да притом двести слишком лет назад, дикие языческие обычаи держались еще в полной силе, а постоянные связи с дремучим лесом, с диким и немилосердным зверьем, не способствовали смягчению нравов, внося во все бытовые отношения ничем не смиримую грубость проявления животных инстинктов. Кое-где были бедные деревянные церковки, с священниками, жившими почти таким же крестьянским обычаем, как и само дикое лесное стадо, которое они пасли. Но что могли значить эти кое-где разбросанные церковки, когда «кабак» уже пробрался и в эти глухие места, пробрался со всеми своими антихристовыми влияниями, и не только кабак пробрался но и «чортово зелье – табак» уже знакомо было еще полудикому человеку. Можно представить, какое влияние эти новшества – чортово зелье и кабак – могли иметь на людей, в жизни которых господствовали еще, в самой сильной степени, только одни инстинктивные побуждения? Очевидно, народишко спивался и безобразничал и от новшеских гнусностей и от языческих привычек и вообще «утопал во грехах». Болезни, смерти, скотские падежи и всякое расстройство шли параллельно успехам кабака, неразъединимого с чортовым зельем. Житье было темное, пьяное, распутное; непристойное слово гудело и в кабаках и в семьях, и все шло в этой жизни врознь, к худу и ко греху.

Но был среди всех этих погрязших во грехе «мужичонков» умный-преумный крестьянин по имени Родион. Он всею душой страдал и печалился обо всех своих гибнущих братиях, тосковал, явственно видел, как они все гnevят бога, что бог грозит на них большим наказанием за все их животные безобразия, – знал, что нельзя оставить все эти гибнущие христианские души без помощи, что надобно спасать эти души, если видишь, что они погибают, что нельзя молчать и быть равнодушным ко всему этому, что недаром какой-то «невидимый глас» укоряет его и дни и ночи во грехах людей, среди которых он живет. Надобно спасать их от гибели. Ему дана эта печаль от бога, он не может ее отогнать от себя, и вот впечатлительный «Родион-земледелец» неотразимо чувствует, что ему пришло время исполнить божие повеление.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.